





# БУЛАТ ОКУДЖАВА

стихотворения



МОСКВА  
2024

УДК 821.161.1-1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-5  
О-52

Иллюстрация на переплете  
*Анны Рысухиной*

**Окуджава, Булат Шалвович.**  
О-52 Стихотворения / Булат Окуджава. — Москва : Эксмо, 2024. — 288 с.

ISBN 978-5-04-191729-6

Стихи и песни Булата Окуджавы многие десятилетия любимы читателями. Уникальна судьба художника, пережившего все самые крупные испытания двадцатого века. И оставшегося верным Арбату — маленькой его родине в центре Москвы, достигшей размеров Вселенной.

УДК 821.161.1-1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-04-191729-6

© Окуджава Б.Ш., наследники, 2024  
© Арбенин К.Ю., предисловие, 2024  
© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2024

## КАПЛИ АРБАТСКОГО КОРОЛЯ

### *Мой взгляд на Булата Окуджаву*

Когда в детстве я впервые услышал словосочетание «Булат Окуджава», оно меня сильно озадачило — оттого и запомнилось сразу же. Во-первых, это явно было имя не из жизни, а из сказочного эпоса. Во-вторых, первое слово противоречило второму, тут прослушивался какой-то фонетический конфликт, мне, ребёнку, непонятный, воспринимаемый только интуитивно и оттого неразрешимый. Острое и холодное имя бросало вызов мягкой и тёплой фамилии. Клинок, угрожающе сверкнув, утопал в густом тесте и усмирался. Отточенное оружие наносило удар, но рану тут же излечивало чудодейственное снадобье. Оружием, разумеется, был Булат, а снадобье называлось «Окуджава». Но поскольку и Булат, и Окуджава были частью одного имени, то в итоге они всё же сосуществовали, а не противостояли друг другу. Они всё-таки примирились в моём сознании. То, что могло обернуться

битвой, стало союзом противоположных друг другу образов.

Теперь, восстанавливая это своё детское впечатление, я понимаю, что именно скрывается за этим словосочетанием: Булат Окуджава — это мягкая сила, ещё точнее — *сила мягкости*.

Моё поколение — поколение последних из октябрат — знакомилось с Окуджавой, когда в сознании наших родителей он уже был легендой, живым классиком. Мы подошли к нему как бы с другой стороны, с чёрного хода. Родители делились его песнями на кухнях и в походах, а мы слушали другие его сочинения — те, которые звучали из телевизора, когда по нему показывали «Соломенную шляпку», «Приключения Буратино», «Бронзовую птицу», «Каникулы Кроша». Родители пели «Сентиментальный марш» и «Возьмёмся за руки, друзья», а мы горланили «Песню и танец великого Кота Базилио и прекрасной Лисы Алисы о жадинах, хвастунах и дураках» или изображали, как «один корнет задумал славу прекрасным днём добыть в бою». И порой казалось, что это какие-то два совсем разных Окуджавы. Но потом появился фильм «Звезда пленительного счастья» с невероятно красивой и печальной «Песенкой кавалергарда»:



А первую песню в авторском (а не в родительском) исполнении я услышал опять-таки в кино — в фильме Динары Асановой «Ключ без права передачи».

Давайте восклицать,  
Друг другом восхищаться,  
Высокопарных слов  
Не надо опасаться.

В одном из эпизодов показали и самого Окуджаву: в доме Пушкина на Мойке современные поэты читают для школьников свои стихи. Я тогда не знал, что это была своеобразная отсылка к знаменитому эпизоду из другого фильма — из «Заставы Ильича» Марлена Хуциева, — запечатлевшему поэтические чтения в Политехническом институте. Где тоже, конечно, выступал Окуджава. Я вообще многое тогда об Окуджаве не знал. И узнать было особо негде. Так — от песни к песне, от фильма к фильму — возникал у меня в сознании его образ.

Сейчас об этом можно прочитать везде, хотя бы в Википедии. Родился 9 мая 1924 года. Отец, партийный работник, арестован в 1937 году как троцкист. После его расстрела, в том же 37-м, с мамой и бабушкой Окуджава переезжает в Москву, на Арбат. В 1938-м арестовали мать. В 1940-м пере-

ехал к родственникам в Тбилиси, работал и учился, пока не началась война. Воевал, ранен, награждён медалями и орденом. После войны закончил филологический факультет Тбилисского университета и несколько лет проработал учителем русского и литературы в калужской школе. В 1947-м из лагерей вернулась мать. Дальше — работа редактором в издательстве. С 1956 года начинает публиковать стихи и сочинять песни...

Его биография отмечена всеми историческими зарубками, всеми шрамами и ярлыками тех, кого потом назовут «детьми XX съезда», а ещё позже — «шестидесятниками». Он вобрал в себя типические черты и вехи поколения, ещё более трагические в этой своей *типичности*. Но биографии было мало, чтобы стать тем, кем стал Окуджава — голосом поколения, — для этого необходимо было ещё кое-что — судьба и дарование.

Поэт получает судьбу в дар. Чем больше дар, тем сильнее хочется им поделиться со всеми. Главное — не захлебнуться в нём и не растратировать. Мне кажется, Окуджава очень точно чувствовал масштаб своего дарования. Будучи человеком скромным, не выпячивающим себя, он тем не менее знал себе цену и понимал своё место. Он нёс себя с достоин-

ством одиночки. Ему приписывают знаковую фразу: «Когда я кажусь себе гениальным, я иду мыть посуду». (На самом деле фраза из воспоминаний писателя Аркадия Арканова звучит чуть иначе: «Когда я мою посуду, я думаю о том, что в это же время миллионы обыкновенных людей на планете тоже моют посуду. И всякую звездную пыль с меня как ветром сдувает...») В том или другом варианте — заявление довольно-таки двусмысленное. Смысловый акцент смещается в зависимости от того, какая его половина перевешивает. Но в том-то всё и дело, что в случае Окуджавы не перевешивает ни одна.

Окуджава — поэт второй половины XX века не только номинально и хронологически, он идеально соответствует духу времени многоликостью своего таланта. Не обласканный в те *среднесоветские* времена официозом, он находил обходные пути и проникал в культурное поле сквозь самые узкие щели, просачивался и прорастал в самых неожиданных местах. Делился дарованным. Будучи человеком не столько свободным, сколько постоянно освобождающимся, выдавливающим из себя раба, он, пытаясь заполнить собой пространство и запечатлеть время, сам как бы постоянно попадал под его фотообъектив. Время заставляло его в разных ракурсах.

Он умудрялся одновременно писать исторический роман («Похождения дилетантов», 1977), попутно сочинять стихотворение об этом («Я пишу исторический роман»), выдумывать автопародию на себя, пишущего исторический роман («*Мы поймали комара...*»), а в свободное от всей этой полифонии время — сниматься в кино. Играл он там, разумеется, исключительно себя, поющего песни под гитару, но зато кочевал из эпохи в эпоху — то у гусаров споёт, то в теплушке у эвакуированных, то у физиков на вечеринке. И в каждом времени он был к месту — песни его служили пропуском и порукой. (Да что там кино — со своим «Сентиментальным маршем» он прорвался даже в роман Владимира Набокова «Ада»!)

В 80-е годы у меня появились пластинки — на одной Окуджава сам пел свои песни под гитару, на другой звучали песни из кинофильмов, написанные на его стихи. Обе пластинки надолго стали любимыми, но, признаюсь, что мои дальнейшие отношения с Окуджавой складывались негладко. Мне по-прежнему нравились песни, но к стихам я относился настороженно. Периодически встречая их в журналах, я не приходил в восторг, что-то меня в них не устраивало. Какая-то излишняя (как мне

казалось тогда) прозаичность, почти разговорная шероховатость размера. В одном журнале я прочитал стихотворение, посвящённое композитору Исааку Шварцу:

Музыкант играл на скрипке — я в глаза его глядел,  
Я не то чтоб любопытствовал — я по небу летел...

Отчётливо помню, как это вот словечко *«любопытствовал»* бесило меня своим выпаданием из размера. Строчка казалась вызывающе небрежной — куда смотрел редактор!

Раздражало и навязчивое повторение одних и тех же тем: захватившие однажды воображение кавалергарды, юнкера, трубачи и флейтисты набили оскомину. И я как-то отстранился от Окуджавы, сначала надолго уйдя в Высоцкого и не видя ему равных в песенном жанре, затем заинтересовавшись Галичем, а затем и с головой опрокинувшись в стихию русского рока. На долгое время Окуджава отодвинулся для меня на второй план.

И вдруг однажды по телевизору я увидел фрагмент «Кинопанорамы», где Окуджава, немного даже путаясь в словах, пел под гитару нечто очень простое и очень на первый взгляд непритязательное:

Песенка, короткая, как жизнь сама,  
Где-то в дороге услышанная,  
У неё пронзительные слова,  
А мелодия почти что возвышенная...

Эта коротенькая композиция меня поразила. В ней было всё — вот абсолютно всё, вся жизнь. Так, во всяком случае, мне тогда показалось. Да и сейчас я думаю, что, может быть, стоит выкинуть всё, что я здесь пишу, и поставить вместо предисловия эти три строфы — они скажут об авторе и его творчестве лучше всяких преди- и послесловий...

Песенка и по форме была нетривиальна. Она как бы рассказывала сама о себе — и сама же над собой подшучивала! Ведь в ней вопреки заявлениям вовсе не было пронзительных слов, и мелодия совершенно не выглядела возвышенной. И вместе с тем она была пронзительней и возвышенней многих других песен, претендующих на пронзительность и возвышенность. И ещё — применительно к творчеству автора она была универсальной, её объектом могла стать любая песня Окуджавы.

От дверей к дверям, из окна в окно,  
Вслед за тобой она тянется.  
Всё пройдёт, чему суждено,  
Только она останется...

Для меня это была приоткрытая на минуту дверца — и я успел заскочить, и вернулся к Окуджаве уже осознанно, уже не с влюблённостью, а с любовью.

И тотчас небрежности и шероховатости окуджавовской поэзии (вернее, то, что я за них принимал) обернулись для меня перлами и находками. За простотой я увидел глубину, за простодушием — доверие, за неприязательностью — мудрость. Окуджава стал для меня чем-то вроде эталона песенного искусства. Возникла даже умозрительная идея, что в *окуджавах* можно измерять качество песни: слишком большое количество этих единиц говорит о перегруженности произведения, слишком малое — о легковесности; чем меньше *окуджав* — тем песня глупее, чем больше — тем зануднее. То есть всё, что ниже или выше, — отклонение от идеала. (В этом фокусе многие мои прежние музыкально-поэтические пристрастия вдруг сильно потускнели: если измерять в *окуджавах* Высоцкого или Башлачёва, то... К счастью, я быстро сообразил, что нельзя любимых авторов сшибать друг с другом, и мерить следует каждого только по его собственным меркам, так что не будем принимать этот пассаж всерьёз.)

Песни постепенно очищали меня от заблуждений. Повторяемость тем оказалась обманным впечатлением: костюмные пасторали и батальные полотна были лишь видимой частью поэтического мира, в котором главное место занимали совсем другие истории и смыслы. Система образов Окуджавы строка за строкою расширялась и раскрывала мне свои тайники.

Преобразилось и стихотворение о скрипаче, особенно когда я услышал его как песню, и автор лично фонетически уложил в моё сознание все её нюансы. Я понял, что «*любопытствовал*» — это и есть главное слово в строфе, что именно такие слова-занызы, на которых спотыкается читатель, и являются ключевыми, творят и создают авторскую поэтику и обнаруживают собой настоящую поэзию, свободную от выверенных размеров и закостенелых догм. Оказывается, что свобода и вольнодумство выглядят именно так, именно *так просто* — хотя бы в виде слова «*любопытствовал*», вставленного туда, где никто не ожидает его услышать. И что именно эта разговорная ритмика стиха и отличает Окуджаву от его равновеликих коллег-современников.

Вообще одно из главных пониманий, данных мне, читателю и слушателю, Окуджавой, — это то,